

щих на людей – не только любви, сводящей с ума, но и ненависти к другому. Будгард размышляет о своей ненависти к меценату Красавину:

Когда человек ненавидит другого человека – разве это не трагедия? Именно ненависть сужает душевный горизонт до последней степени, и человек гибнет под напором своего собственного душевного настроения (XI, 119).

В последнем своем романе, как и в других эпических полотнах «второго ряда», писатель выражает глубокую веру в силу человеческого разума, просветленного идеалом и способного преодолеть все душевные «затмения», и в спасительную силу самоотверженной любви.

Горький А. М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954.

Дергачев И. А. Д. Н. Мамин-Сибиряк в истории русского романа // Русская литература 1870-1890-х годов. Сб. 6. Свердловск, 1974.

Мамин-Сибиряк Д. Н. Именинник. Пермь, 1989.

Мамин –Сибиряк Д. Н. Полн. собр. соч.: В 12 т. Пг., 1915–1917.

Писарев Д. И. Соч.: В 4 т. М., 1956.

Щенников Г. К. Характеры «лучших людей» из дворян в русской прозе 1870-х годов // Русская литература 1870–1890-х годов: Проблемы характера. Свердловск, 1983.

Л. М. Шайхинурова

СОЦИАЛЬНОЕ МИФОТВОРЧЕСТВО И «ИРОНИЯ СУДЬБЫ» В РОМАНЕ Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ»



Роман «Приваловские миллионы», завершённый Д. Н. Маминым-Сибиряком 2 сентября 1883 года, имеет богатую, продолжением в девять лет, творческую историю. Идея написать трилогию о главных эпохах уральской жизни с подчеркнuto эпическим названием («Каменный пояс») материализуется под пером художника лишь в виде третьей части – романа «о последнем представителе некогда сильного рода, прошедшего и взлет, и падение» (см.: Дергачев, 1981, 73). Необходимо подчеркнуть, что ни одно произведение Д. Н. Мамина-Сибиряка не потребовало столь напряжённого труда и не подвергалось столь многочисленным переделкам, как роман «Приваловские миллионы», ни одно из последующих творений не вызывало столь пестрой гаммы эмоций у их создателя: от всепоглощающего чувства творческой радости до гнетущих настроений «проваливающегося» неудачника.

В «Приваловских миллионах» Мамин-Сибиряк подходит очень близко к современной ему уральской действительности, переживающей годы бурного развития русского капитализма. Здесь писатель преимущественно касается жизни уральских центров – Екатеринбурга и Ирбита, это городской Урал, жители которого «редко “геройствуют” или “злодействуют”, чаще мелко или крупно мошенничают, а то и просто живут серенькой обывательской жизнью, по рецепту “день да ночь – сутки прочь”» (см.: Чекин, 1913, 25). Чрезвычайно важной для нас является характеристика городской жизни устами самого писателя. Так, еще в 1875 году в письме к отцу он пишет: «Издали, городская толпа интересна, но вмешиваться в нее не стоит. Единственный двигатель здесь – деньги, деньги и деньги... Волки в овечьей шкуре и хитрые, как змеи, наводняющие нашу землю – они жители теперешних городов, сделавшихся каждый в своем роде Вавилоном» (цит. по: Удинцев, 1936, 25). А в 1876 году Мамин эту же мысль выражает предельно кратко: «Города – мираж» (см.: Там же).

Роман «Приваловские миллионы» буквально «пронизан» смехом в самых разных его проявлениях. И эта «пронизанность» отнюдь не случайна: комическое имеет своей сферой социальное, обращено к различным общественным ролям индивида, в которых внешнее доминирует над внутренним, индивидуальным, в отличие от трагического, которое касается в первую очередь внутренней сферы (душа, дух). Но именно бытийное, онтологическое измерение структуры мира, локализованное в сфере социума, и является предметом изображения в этом романе уральского прозаика. Смех, с точки зрения Л. А. Спиридоновой, «...как правило, расцветает в переходные эпохи, когда одна общественная формация сменяется другой и происходит глобальная переоценка духовных и моральных ценностей. В такие периоды выявляется относительность того, что казалось прочным и неизбывным...» (Спиридонова, 1999, 5). Однако следует добавить, что в такие времена происходят и *видоизменения* самого смеха. К переходной эпохе принадлежит уральская проза Д. Н. Мамина-Сибиряка 1880-х годов: это было время, когда именно здесь, в богатейшем промышленном крае, в сказочно быстрые сроки был запущен маховик новых буржуазных отношений.

В советский период было сказано достаточно много об «обличительной функции сатиры» Мамина-Сибиряка (см., например: Дмитрий Наркизович Мамин-Сибиряк..., 1953; Боголюбов, 1953). В окончательном варианте романа, с которым сегодня имеет дело читатель, автор лишь в исключительных случаях выступает в качестве «бичующего сатирика» и «обличителя» и, как правило, выражает иную – *ироническую эмоциональность* на страницах своего первого произведения. Попытаемся показать это в нашей статье. В контексте осмысления иронии как концептуальной категории весьма продуктивным представляется введение понятий «социальное мифотворчество» и «карнавализация сознания».

Богатейший материал создал определенные трудности в методическом отношении. На первом этапе исследование имело системно-описательный характер: анализ встретившихся в тексте романа приемов комического заставил обратиться к классификациям, предложенным такими исследователями его природы, как В. Я. Пропп (1976), А. З. Вулис (1966), В. З. Санников (1999). Однако на данном этапе возникли следующие проблемы:

1) названные классификации основаны на разных подходах к комическому и соответственно имеют разные теоретико-методологические обоснования;

2) изолированный, взятый вне контекста (внутреннего монолога, диалога, сцены, авторского отступления и т. д.) пример комического зачастую теряет весь свой комизм, при этом сохраняя формальную верность «механизму» того или иного приема, требует более подробного и тщательного комментария, учитывающего практически весь романский контекст.

Приведем пример. Гоголевский прием уподобления человека животному – один из любимых Маминым в романе:

«Приехал человек из Петербурга, – да он и смотреть-то на ваших невест не хочет! Этакого *осетра* (курсив наш. – Л. Ш.) женить...ТЬфу» (Заплатин о приезде Привалова в Узел).

«Ведь ты у меня гениальнейшая женщина!.. А!.. Этакого *осетра* в жильцы себе започулила... Да ведь пожить рядом с ним, с миллионером... Фу, черт возьми, какая, однако, выходит канальская штука!» (он же о переезде Привалова в домик к Заплатиным).

Сравнение Сергея Привалова с осетром в данном контексте направлено не на подчеркивание недостатков главного героя, – ведь само по себе богатство («миллионы») вряд ли можно рассматривать как недостаток, отрицательную черту человеческого характера, – а на придание комизма всей ситуации вокруг миллионера, на подчеркивание его значимости в глазах узловских провинциалов. Это скорее *комическое преувеличение*, а точнее, одна из его форм – *гипербола*. Ассоциативный ряд, возникающий в сознании читателя, прозрачен: осетр – одна из «породистых» и благороднейших рыб, рыба «голубых кровей», если можно так выразиться, и что наиболее существенно – это рыба, которую непременно следует съесть! За этой гиперболой стоит авторская ирония, направленная не на Привалова, а на суетящегося вокруг чужих миллионов Заплатина, на весь узловский «бомонд», «раздувающий» образ миллионера до невероятных размеров. Вспомним подобную ситуацию у Н. В. Гоголя – «раздувание» образа псевдоревизора Хлестакова, последовательно совершаемое всеми персонажами комедии. Но в «Ревизоре» комизм усиливается еще и благодаря «само-раздуванию» Хлестакова, что лишь подчеркивает контраст между «мнимым» и «истинным». У Мамина-Сибиряка миллионер не мнимый, а самый что ни на есть настоящий, однако его реальный облик (важнейшая черта которого – слабыхарактерность) и образ жизни (рублевый номер в гостинице и пр.) не соответствуют всему, что так старательно выстраивается вокруг его имени. Вот здесь мы и сталкиваемся с неперменным условием комического – несоответствием, в данном случае несоответствием мнимого и истинного положения дел.

Рассмотренный пример отражает особый феномен, ставший художественной реальностью «Приваловских миллионов», – социальное мифотворчество. В последнее время об этом явлении культуры говорят представители разных направлений гуманитарного знания (философы, литературоведы, журналисты). Суждение о том, что многие современные представления о мире основаны на мифологическом восприятии, является фундаментальным для целого ряда ученых: Е. М. Мелетинского, И. И. Засурского, В. В. Меликова, П. С. Гуревича и др. При всей разноречивости в определении мифологии именно миф стал одним из центральных понятий ли-

тературоведения, социологии и теории культуры XX века¹. Для того чтобы найти ритуально-мифологические модели в новой и новейшей литературе, недостаточно было обращения к литературным традициям, восходящим в конечном счете к забытым ритуалам, – следовало исходить из вечно *живой мифологической почвы в самой художественной фантазии, в психике писателей*. Расширение понятия «миф», свойственное XX столетию, «выражается, с одной стороны, в отказе от сознательной ориентации на древние традиции и на использование с новыми целями привычных образов подлинной мифологии, а с другой – наоборот – в приравнении всякой традиции к традиции мифологической» (Мелетинский, 1995, 105).

Предыдущему столетию присуща также апологетика социального, политического (даже «революционного») мифотворчества. Его теоретик Ж. Сорель воспринимал миф не как практическую политическую программу, а прежде всего как плод воображения и воли, который имеет те же корни, что и любая религия, поддерживающая определенный моральный тонус и жизнестойкость масс. Возможность говорить о социальных и политических мифах допускалась Э. Кассирером, Т. Манном, Р. Бартом, М. Элиаде и другими мыслителями. По Барту, современность – привилегированное поле для мифологизирования². Проецируя сказанное на «Приваловские миллионы» Д. Н. Мамина-Сибиряка, следует особо подчеркнуть безусловно современное звучание этого произведения в контексте бурных социальных процессов, происходящих сегодня в России.

Таким образом, социальное мифотворчество – это реестр социальных иллюзий, сознательно распространяемых в обществе для достижения тех или иных целей, «средство консолидации традиционного общества» (см.: Гуревич, 1997). Именно социальное мифотворчество является в романе основным объектом авторской иронии, а г. Заплатин, как и большинство героев романа, служит лишь его носителем, своеобразным рупором.

Социальное мифотворчество, мифы-идиллии и мифы-кошмары – это характерное явление культуры XX века, однако прежде всего это феномен русского национального сознания и бытия, нашедший свое художественное воплощение и во многих произведениях классической литературы (например, в уже упоминаемом «Ревизоре», а также «Мертвых душах» Н. В. Гоголя, пушкинском «Борисе Годунове» и др.). В «Приваловских миллионах» социальное мифотворчество явилось своеобразным «продуктом» социального хронотопа. Сосуществующий одновременно с физическим и духовным временем-пространством социальный хронотоп является все же ведущим в этом произведении в силу специфики его содержания – преоб-

¹ Новейшие интерпретации выдвигают на первый план миф как некую емкую форму или структуру, которая способна воплотить наиболее фундаментальные черты человеческого мышления и социального поведения, а также художественной практики. История культуры всегда так или иначе соотносилась с мифологическим наследием древности: сначала, как известно, эволюция шла в направлении «демифологизации» (ее вершины – просвещение XVIII и позитивизм XIX столетий), затем, в XX веке, – крутой «реимифологизации», значительно превосходящей по своему масштабу романтическое увлечение мифом в начале XIX века.

² В отличие от традиционного (архаического) современный миф можно рассматривать как порождение двух прямо противоположных по своей сути явлений: во-первых, засилья и мощного прессинга со стороны социальной информации; во-вторых, свободы индивидуального сознания, которое может его принимать или отвергать: «В достаточно активном индивидуальном сознании миф может возникать и функционировать, прежде чем он способен стать коллективным» (Кравченко, 1999, 4).

ладания социальной проблематики. Большинство персонажей: и так называемые положительные (Бахарева), и отрицательные (Ляховские, Половодовы, семейные пары Веревкиных и Заплатиных) – все принимают участие в создании мифа о «миллионщике». Точнее, двух мифов.

1. Первый миф по сути своей относится к разряду идиллических. Для старика Бахарева Сергей Привалов как индивидуальность отсутствует, он лишь часть приваловского рода, носитель Имени, определенных устоев и традиций, сколь пагубными бы на самом деле они ни были. И Василий Назарыч готов простить Привалову все, кроме одного – измены собственному, родовому, «клановому» сознанию. Эту мысль замечательно точно передает Надежда Бахарева:

Теперь он действительно очень недоволен Приваловым, но это еще ничего не значит. *Привалов все-таки остается Приваловым* (в цитате курсив автора. – Л. Ш.). <...> ... что бы Привалов ни сделал, отец всегда простит ему все, и не только простит, но последнюю рубашку с себя снимет, чтобы поднять его. Это слепая привязанность к фамилии, какое-то благоговение пред именем... Логика здесь бессильна, а человек поступает так, а не иначе потому, что *так нужно*.

Василию Бахареву психологически неуютно в разорванном и расколотом современном мире, и он интуитивно тянется к нерасчлененному мироощущению. Именно миф освящает его существование, придавая смысл и надежду. В свое время влиятельный в рамках модернистской культуры мыслитель А. Бергсон рассматривал мифологию и религию как своего рода оборонительную реакцию природы против разлагающей силы интеллекта, в частности, против интеллектуального представления о неизбежности смерти. Французский социолог А. Сوفي в книге «Мифологии нашего времени» (1965) включил в круг разоблачаемых им мифов и такие традиционные универсальные мотивы, как «золотой век» и «доброе старое время», вечное возвращение к прошлому, «обетованная земля» и «рог изобилия», предопределение судьбы. В. Дуглас указывал, что миф в Новое время стал употребляться в таких смыслах, как иллюзия, поверье, вера, сакрализованное и догматическое выражение социальных обычаев и ценностей. А Э. Кассирер специфику мифологического мышления видел в неразличении реального и идеального, вещи и образа, тела и свойства, в силу чего сходство или смежность преобразуются в причинную последовательность, а весь космос построен по одной модели и артикулирован посредством *оппозиции священного и профанного*. Подобные интерпретации мифа представляются наиболее органичными в связи с «бахаревским» сюжетом в «Приваловских миллионах». Старик Бахарев, таким образом, персонафицирует одно из социально-этических течений эпохи, отраженной в романе, – этику клана, или кровного родства, имеющую, однако, весьма широкую парадигму и, по сути, восходящую к допетровской эпохе, к раннему русскому Средневековью. В свое время в фундаментальном исследовании «The Russian Religious Mind» об этике кланового, или родового, сознания древнерусского человека размышлял Г. П. Федотов, взяв в качестве примера, в частности, классическое «Слово о полку Игореве» (см.: Федотов, 1993). Итак, в типичной для Мамина-Сибиряка манере современная жизнь изображена в ее связях с предшествующими эпохами, вот почему в романе показан не один Сергей Привалов, а целое «гнездо» (династия)

Приваловых. «Бахаревский» сюжет реализует, таким образом, *миф-идиллию*, сопряженную с поиском благостной и спасительной утопии (мифологема «единственный наследник»).

Предложенная нами интерпретация бахаревской линии в «Приваловских миллионах» вполне органична затекстовой ситуации – жизненным и творческим обстоятельствам Д. Н. Мамина-Сибиряка в годы его работы над романом. Позади – первый, яркий и бурный, но далеко неоднозначный период жизни в далекой северной столице: товарищи, мелкобуржуазное студенчество, богема – и вместе с тем рутина литературной поденщины в форме репортерства, частые выпивки и хроническое недоедание... В это же время Мамин отдает традиционную для тех лет дань нигилизму. Ощущение, так сказать, духа юности и начала молодости писателя замечательно переданы им в великолепном романе петербургского цикла «Черты из жизни Пепко». Но к 1876 году у Мамина определяется и несколько иное настроение: «Хорошо писать заграничному автору, когда там жизнь бьет ключом. А у нас... собственно, и жизни нет. Здесь можно только задыхаться, и ни одна здоровая мысль не пробьется в эту проклятую дыру» («Черты из жизни Пепко»). Подобное настроение послужило первым стимулом к художественному творчеству. Мамин начинает вспоминать старые, когда-то слышанные им мотивы: «Русские угодники тоже ушли от окружавшего их свинства и мучительным подвигом достигли желаемого просветления, т. е. настоящего, того, для чего только и стоит жить. И мне надоело жить, и я тоже мучительно ищу подвига» (Там же). Его интересуют теперь проблемы семьи, родины, истории. Интересен в биографии писателя тот факт, что даже в период своего, так сказать, кратковременного нигилизма, Мамин никогда не рвал с семьей. В этом смысле конфликта «отцов и детей» он не знал. Скорее наоборот: по словам Б. Д. Удинцева, Мамин «всегда мучительно ощущал связь с семьей» (Удинцев, 1936, 26)³. Однако для нас важным является следующий момент: Мамина интересуют не только семья, родители, братья, сестра; прежде всего он чувствует себя связанным с «родом» – дедами, прадедами, собирает о них сведения, интересуется «генеалогией». Начинающий писатель с испугом наблюдает за тем, как быстротекущая жизнь смывает следы прошлого. Отсюда его пристальный интерес к истории области и края в целом, к фольклорным первоисточникам, внимание к такому феномену русской, и уральской в частности, культуры, как старообрядчество. Метафорически ярко и вместе с тем концептуально эта позиция обозначена Маминым в «Чертах из жизни Пепко»: «Помнишь былинку об Илье Муромце: как упадет на землю, так в нем силы и прибавится. В этом, брат, сказалась глубокая народная мудрость: вся сила из родной земли прет». Таким образом, предложенная интерпретация «бахаревского» сюжета в «Приваловских миллионах» вполне органична ми-

³ Достаточно вспомнить его дружескую, теплую переписку с родными и в особенности с отцом в семинарский период. «Эти думы тревожили меня. Я должен был к кому-нибудь обратиться, но к кому – как не к Вам?» – напишет он Н. М. Мамину в 1870 году (цит. по: Удинцев, 1936). А в декабре 1876 года в связи с каникулами вдали от дома Дмитрий Наркисович выскажется так: «Я часто вспоминаю Висим, засыпанный теперь по самые крыши снегом, и жалею, что не придется еще пожить в нем. Часто уношусь мечтами в далекий, глухой уголок, самый дорогой для меня по воспоминаниям. Когда бывает трудно, когда хочется отдохнуть от ежедневных дразг, особенно вечером, когда на столе ворчит самовар, я витаю мыслью среди моих старых знакомых, среди знакомых мест, среди патриархальной жизни» (Там же).

роощущению и мировоззрению писателя в период его работы над романом. Однако этот сюжет порождает миф, и миф именно идиллический, поскольку вместе с интересом к проблемам этики родового сознания у автора зреет понимание того, что возврата к прошлому не будет, что названное социально-этическое течение практически раздавлено мощным потоком бытия.

2. Второй миф о Привалове – миф о «миллионщике», порождение этого другого, нового, социально-этического течения эпохи стремительного развития русского капитализма, суть которого – в культивировании «желтого дьявола» любыми способами, вплоть до полного отпадения от родового сознания и забвения собственного имени. Данный сюжет тяготеет к разряду *мифов-кошмаров*, связанных с тематикой катастрофизма и злой участи (мифологемы: «миллионщик», «заговор», «персонификация пагубной силы»). Для узловского «бомонда», объединившегося в «заговоре» против «миллионщика», последний, таким образом, выступает в качестве жертвы. История России показывает, что названный архетип особенно активизируется в годы революций и войн (а ситуация «Приваловских миллионов» сродни революционной или военной). В свое время известный американский критик В. Трой в качестве жертв («козлов отпущения») рассматривал, в частности, героев Стендаля (Жюльен Сорель) и Бальзака (Рафаэль и Люсьен де Рюампре). Как считает Трой, Жюльен Сорель – раздвоенная личность, сочетающая чувствительность и демонизм и страдающая от социального унижения; он сам берет на себя вину, которая является результатом нарушения равновесия между охранительным принципом традиционной морали и интересами или мотивами эгоистической воли. Критик полагает, что именно поэт, художник являются типичной «жертвой» благодаря своей чувствительности, пониманию моральных и религиозных ценностей, способности страдать и быть трагичным. В полной мере все сказанное мы, разумеется, не можем проецировать на главного героя «Приваловских миллионов», однако, как мы убедимся ниже, ряд обозначенных В. Троем архетипических черт «козла отпущения» присущ и Сергею Привалову⁴.

Однако применительно к «Приваловским миллионам» следует говорить как о *внутреннем двойничестве*, так и о наличии героев-близнецов. По мнению Е. М. Мелетинского, подобное раздвоение на серьезного культурного героя и его демонически-комический негативный вариант в религиозном плане соответствует этическому дуализму, а в поэтическом – дифференциации героического и комического (см.: Мелетинский, 1994, 38–39). В классической форме трикстер – «близнец» культурного героя, отчетливо ему противопоставленный не как бессознательное начало сознательному, а больше как глупый, наивный и злокозненный, деструктивный – умному и созидательному. Архетипическая фигура мифологического плута-озорника собирает воедино целый набор отклонений от нормы, ее перевертывания, осмеяния (может быть, в порядке «отдушины»), и эта фигура архаического «шута» мыслится только в соотношении с нормой. Интересно под обозначенным углом зрения посмотреть на пару героев-братьев Сергей

⁴ С точки зрения Н. Фрая, названный архетип независимо от ритуального генезиса можно обнаружить и в театре, и в эпосе античности, и в истории Иова в Библии, и в произведениях Шекспира, Бена Джонсона, Мольера, и в детективном романе, и в фильмах Чаплина, и в «Процессе» Кафки и т. д., – естественно, с совершенно различной окраской.

Привалов – Тит Привалов. Тема «Жизнь – карнавал» (о которой речь пойдет ниже) начинает звучать в романе особенно сильно именно с появлением еще одного владельца Шатровских заводов, причем здесь она получает как бы свое предельное, материальное, выражение: Тит Привалов оказывается не кем иным, как именно *актером* ярмарочной труппы, внешне, однако, больше походившим «на лакея из плохого ресторана»:

– Ну, *батенька* (здесь и далее в цитате курсив наш. – Л. Ш.), можно сказать, что вы прошли хорошую школу... – говорил задумчиво Веревкин. – Что бы вам явиться к нам полгодом раньше?... А вы какие роли играли в театре?

– Неодинаково, больше *прислугу и в водевилях*.

– Так-с... гм. Действительно, вышел *водевиль*: *сам черт ничего не разберет!*..

Младший наследник миллионного состояния (обратите внимание на ироническое обращение к нему Nicolas Веревкина – «батенька», абсолютно не допустимое в отношении Сергея Привалова), играющий в театре прислугу и не имеющий даже своего платья! И он же – авантюрист и новый герой узловского дня, этакий забавный Titus, говорящий по-французски с настоящим парижским прононсом и бесконечно сыплющий самыми пикантными остротами, каламбурами, рассказами и анекдотами из своей заграничной жизни... Titus Привалов – в отличие от своего старшего брата Сергея, узловского экс-героя – безусловно, *свой*, понятный и желанный, персонификация самых заветных чаяний узловских обывателей:

– Да, да... Что мы живем здесь, в *этой трущобе* (в этой и следующей цитате курсив наш. – Л. Ш.), – говорила Хиония Алексеевна, покачивая головой. – Так и умрешь, ничего не выдавши. *Ах, Париж, Париж...* Вот куда я желала бы попасть!.. И Александр Павлыч то же самое говорит, что *не умрет спокойно, если не побывает в Париже*.

Однако комичным, как бы знаменующим сам образ являлось уже первое упоминание Тита Привалова на страницах романа, представляющее собой классический *алогизм*:

Знаете, я слышала, что этого несчастного мальчика, Тита Привалова, *отправили куда-то в Швейцарию и сбросили в пропасть. Как вы думаете, чьих рук это дельце?*

Особого разговора требует имя этого персонажа. Интересно отметить, что подобным образом, например, именует своего главного героя А. И. Герцен в повести «Aphorismata». Е. К. Созина, обращаясь к мифологическим истокам и мистификации в этом произведении, естественно, обращает внимание и на содержательную в названном отношении антропонимию (см.: Созина, 2001, 21). Мифологический код, содержащийся в имени героя, подчеркивает концепцию хаоса, доминирующую в «Приваловских миллионах». Кроме того, упоминание Швейцарии, откуда бежал «нищий миллионер» Тит Привалов, вызывает аллюзию относительно другого покинувшего эту страну нищего наследника, да к тому же «идиота», – Льва Мышкина. Так поддерживается и усиливается идея безумия как хаоса, созидającego жизнь в мире уральского романа.

Реализацию социального мифотворчества в «Приваловских миллионах» интересно рассмотреть и в контексте одного из главных концептов всяко-

го коллективного, массового, народного, национального мироощущения, пронизывающего всю культуру и выраженного в противопоставлении «свои» – «чужие». Понятие «свой» первоначально являлось осознанием кровного родства некоторой группы людей (рода, клана), в пределах которой человек одновременно осознает себя «свободным от рождения, свободным по рождению» и противопоставляет себя «другим» – «чужим, врагам, рабам». Следует отметить, что если для Бахаревых Привалов «свой», то для узловского «бомонда» он, безусловно, «чужой» (сравните: *Привалов* – «привалил», «свалился на голову», «счастье привалило»; последняя сема особенно важна для «бомонда», жаждущего, так сказать, пожить за счет чужих миллионов). В романе прежде всего актуализируется одно из древнейших значений слова «чужой», указующее на его концептуальный состав – «не имеющий, не знающий своего рода»: *чуж-чуженин, чужень* – «одиноким сирота» (см. у В. И. Даля). Однако следует оговориться: и для Василия Назарыча Привалов становится «чужим» в момент отказа от родовой, династийной предначертанности – заводского дела:

«Бахарев какими-то мутными глазами посмотрел на Привалова, пощупал свой лоб и улыбнулся нехорошей улыбкой (разрядка наша. – Л. Ш.).

– Торговать мукой... *Му-кой!*.. (курсив автора. – Л. Ш.) *Привалов* будет торговать мукой... *Василий Бахарев* купит у *Сергея Привалова* мешок муки...»

Важной представляется и взаимосвязь концепта «чужой» с концептом «чудо»: для узловских обывателей приехавший из далекого Петербурга Сергей Привалов – *чудной, чужой, чужий*, т. е. странный, необычный.

Суммируя сказанное, подчеркнем, что для основной массы героев имя *Привалов* есть *имя-функция*, это синтез конкретного «предмета» (Сергей Привалов) и архетипов (наследник-благотель или «миллионщик» – жертва, «козел отпущения»). Последний архетип кристаллизуется в романе в конкретный метонимический образ (*приваловские миллионы*), состоящий из объекта и отношения к нему общества (в данном случае узловского «бомонда»). Этот образ-название несет мощную перспективную функцию, ибо является своеобразной «лакмусовой бумагой», способом выявления внутреннего кредо героев, основным критерием для их классификации. Он также выполняет роль семантико-тематической интеграции текста, становится одним из способов воплощения основной социально-художественной идеи произведения. «Приваловские миллионы» – это образ-лейтмотив, образ-фаворит, образ-звезда, образ-острие. Данный метонимический образ – одна из реализаций цельного художественного образа, организующего всю структуру произведения, – образа Капитализма. О капитализме как цельном образе романной структуры писал в свое время И. А. Дергачев: «В “Приваловских миллионах” герои погружены в жизнь, где абсолютно господствуют буржуазные отношения, проявляющиеся во всех сторонах действительности, в содержании многих характеров» (Дергачев, 1992). Капитализм в России – не мираж, а реальность. Он везде: в промышленности, в торговле, в банковском деле, в сельском хозяйстве и даже в быту. Вероятно, Мамин-Сибиряк как истинный художник интуитивно ощутил огромный образно-смысловой потенциал именно этого названия своего будущего романа, отказавшись от первоначального, выражающего «бахаревский», архаичный в контексте новой эпохи социально-этический

смысл – «Последний из Приваловых». Интересно отметить тот факт, что еще создатель первой серьезной философии мифа итальянский ученый Вико необыкновенно точно высказался о том, что каждая метафора или метонимия является по происхождению «маленьким мифом». Таковы-ми являются и оба названия произведения – первоначальное и окончательное.

По сути, романский сюжет реализует общую схему психологических основ мифологического сознания и поведения. Сравните:

1. Формирование индивидуального (Хина, Заплатин, Агриппина Филиппевна, Половодов, Ляховский, Оскар Филипыч и др.) и коллективного (узловский «бомонд») мифологического сознания, эмоционально-чувственный аспект.

Иррациональная стадия. Ситуационные аффекты и эмоции (возникновение непонятного события – приезд Сергея Привалова; появление символа – «приваловские миллионы»; начало коллективных обсуждений – городские толки и сплетни). Эмоциональная, инстинктивная, чувственная реакция, образование ложных ассоциативных связей, подготовка перехода к выбору определенного стиля поведения и принятию решения (см. сцену ниже).

2. Функционирование мифологического сознания. Формирование общественного мнения, массовых действий, движений, партий, объединений на мифологической основе – кипучая деятельность Ляховского, Оскара Филипыча, Хины Заплатиной, Половодова в романе, в основе которой – желание как можно больше урвать от «приваловских миллионов».

3. Расстройства коллективного сознания: заговор, козни врагов. В итоге – моральный крах Заплатиной, смерть Ляховского, драматический финал Половодова и Зоси Ляховской. В конце романа (приблизительно в последней его трети) комическое как бы «сходит на нет»: безусловно, это связано с судьбами названных нами героев, и реальность в этой части произведения скорее моделируется трагическим и драматическим. Очевидно, что на концептуальном уровне комическое в романе Д. Н. Мамина-Сибиряка коррелирует со взглядами Софокла, видевшего основную идею данного эстетического явления как иронии судьбы.

Есть в романе замечательная сцена, которая превращает метонимическую конструкцию «приваловские миллионы» в развернутую и является своеобразным кульминационным моментом мифа (мифа-кошмара) о Привалове. Ее мы условно назвали «В гостиную Агриппины Филиппевны после ухода Привалова». Считаем необходимым привести эту сцену полностью, поскольку именно комическое «моделирует» ее реальность; кроме того, это блестящий образец психологической манеры и стиля писателя:

Когда дверь затворилась за Приваловым и Nicolas, в гостиную Агриппины Филиппевны несколько секунд стояло гробовое молчание. Все думали об одном и том же – *о приваловских миллионах, которые сейчас вот были здесь, сидели вот на этом самом кресле, пили кофе из этого стакана, и теперь ничего не осталось...* (курсив наш. – Л. Ш.). Дядюшка, вытянув шею, внимательно осмотрел кресло, на котором сидел Привалов, и даже пощупал сиденье, точно на нем могли остаться *следы приваловских миллионов*.

– *Ах, ешь его мухи с комарами!* – проговорил Лепешкин, нарушая овладевшее всеми раздумье. – Четыре миллиона наследства заполучил... а? Нам бы *хоть понюхать таких деньжищ...* Так, Оскар Филипыч?

– О да... совершенно верно: *хоть бы понюхать*, – сладко согласился дядюшка, складывая мягким движением одну ножку на другую. – Очень богатые люди бывают...

– Вот бы нам с тобой, Иван Яковлич, такую уйму денег... а? – говорил Лепешкин. – Ведь такую обедню отслужили бы, что чертям тошно...

Иван Яковлич ничего не отвечал, а только посмотрел на дверь, в которую вышел Привалов. «Эх, хоть бы частичку такого капитала получить в наследство, – скромно подумал этот благочестивый человек, но сейчас же опомнился и мысленно прибавил: – Нет, уж лучше так, все равно отобрали бы хористки да арфистки, да Марья Митревна, да та рыженькая... Ах, черт ее возьми, эту рыженькую... Препикантная штука!...»

Очевидно, что психологическое состояние героев раскрывается здесь прежде всего через их речевое поведение: диалог и внутренний монолог; огромное значение имеют авторские ремарки, в основе которых – открытый еще Л. Н. Толстым метод показа психики изнутри, так называемое психологическое подслушивание. Вообще, «стихия устной речи» – характерное явление «Приваловских миллионов» и реализма Д. Н. Мамина-Сибиряка 1880-х годов в целом, и это «далеко не внешняя примета стиля, а форма адекватного выражения особенностей бытия самой мысли» (Дергачев, 1979, 98). Писатель, отказавшись от просветительского принципа господства некоей готовой истины, границы «разброса» индивидуальных истин определяет наличием коллективного ценностного опыта, на вербальном уровне зафиксированного в жанрах народной словесности. Так, например, психологическое состояние Аники Панкратыча Лепешкина, героя интерпретируемой сцены, превосходным образом передается именно через фразеологизмы, имеющие ярко выраженную экспрессивно-эмоциональную окраску (*ешь его мухи с комарами!*; *понюхать таких деньжищ*; *такую обедню отслужили бы, что чертям тошно*). Внешне иную тональность имеет душевное состояние «сладкого» и «мягкого» Оскара Филипыча, и это находит свое воплощение в намеренном использовании автором уменьшительно-ласкательных суффиксов (*дядюшка, ножка*). Слово это повторенная, взятая из самых глубин народной речи метафора *хоть бы понюхать* в реплике «дядюшки» абсолютно не вяжется с сугубо литературным *совершенно верно*. Это способствует буквальному воспроизведению смысла, деметафоризации выражения, являющейся источником комизма. Иван Яковлич полностью «саморазоблачается» во внутреннем монологе о *рыженькой* – (*препикантная штука!*) и «разоблачается» посредством авторских ремарок (*скромно подумал этот благочестивый человек*). Вообще, внутреннее состояние всех трех героев в момент осмысления ими феномена «приваловских миллионов» предельно кратко выражается в междометных формах: восторженное *ах!* (Лепешкин), глубокомысленное *о да...* (Оскар Филипыч) и горестное *эх!* (Иван Яковлич).

Однако необходимо подчеркнуть, что и сам Сергей Привалов является творцом и носителем одного из сюжетов социальной мифологии – *мифидиллии*, сопряженного с поиском благостной и спасительной утопии: он захвачен мыслью о необходимости вернуть долг башкирам, чьи земли были обманом взяты под заводы, и рабочим, трудом которых эти заводы создавались.

Парадокс заключается в том, что Привалов – единственный наследник миллионов – в меньшей степени, чем кто-либо, считает эти миллионы своими, и если он за них борется, то исключительно потому, что впослед-

ствии намерен заплатить исторический долг. Таким образом, автор «взвалил» на главного героя романа непосильную ношу в современных тому социально-исторических условиях: быть единственным носителем «исторической памяти»⁵. В свое время современник Мамина-Сибиряка екатеринбургский журналист В. П. Чекин охарактеризовал предков Привалова как «эпических безобразников» (см.: Чекин, 1913). Следуя этой логике, Сергея Привалова следует воспринимать как своеобразного «культурного героя», расчищающего землю от разного рода «нечисти», трикстеров. Однако ирония судьбы заключается в том, что «нечисть» эта не иноплеменная, а своя, родная, кровная, родовая. Таким образом, не только узловские обыватели лишают главного героя индивидуальности и превращают его в героя-функцию, но и сам автор как будто бы по-своему мифологизирует его. На уровне завязки романной фабулы Сергей Привалов – *миф-идиллия* Мамина-Сибиряка, благодатная, но очевидно утопическая идеологема, персонифицированная в облике главного героя.

Однако необходимо исследовать эту проблему глубже. Богатая творческая история «Приваловских миллионов» знакомит нас с единственной из всех предварительных законченной редакцией – романом «Семья Бахаревых», который вместе с тем можно рассматривать и как вполне самостоятельное произведение в контексте русской романной прозы 1860–1870-х годов о «новых людях». В «Семье Бахаревых» Привалов был занят лишь неопределенными проектами помощи крестьянам, герои в основном пребывали в кругу мыслей о своей ответственности за жизнь народа. Существенным является тот факт, что главный герой изображен здесь не миллионером, а всего лишь скромным агентом какой-то крупной английской фирмы, занимающимся сбытом русского хлеба за границу и обладающим очень небольшими личными средствами. Это сразу отсекает из романа основную по сути сюжетную линию: так как миллионного наследства нет, то отпадает и опека над ним и, следовательно, выпадают роли опекунов и того хищного воронья, которое с ними органически связано (дядюшка-немец Оскар Филиппыч, управляющий Ляховского Альфонс Богданыч и др.), ненужной делается фигура присяжного поверенного Nicolas Веревкина и т. д. А в первой редакции «Каменного пояса» Привалов показан уже наследственным миллионером, проникнутым идеей расплаты с народом, однако миллионером *не подопечным*. В «Приваловских миллионах» происходит разделение нравственной и реальной ответственности главного героя. *Подопечный миллионер* – само по себе словосочетание сродни оксюморонному, но именно оно максимально выражает трагикомизм жизненной ситуации наследника. Действительно, развитие сюжета показало, что «утопист и мечтатель» Сергей Привалов (определение Константина Баха-

⁵ Исследователь В. Борисов так определяет данный культурный концепт: «Исторической памятью я называю таинственную способность, потенциально присущую каждому человеку, переживать историю как собственную духовную биографию. Эта способность реализуется в двуедином *акте опознания истории в себе и себя в истории* (курсив наш. – Л. Ш.). Как способность духовная, историческая память активна, то есть не безразлична к своему предметному содержанию. Именно поэтому для нас не бессмысленны такие понятия, как "*грех отцов*", *ощущаемый нами как собственный*, и т. п. Историческая память есть необходимое условие духовного самоопределения, без которого невозможна или во всяком случае ущербна жизнь в культуре. <...> Лишить человека исторической памяти значит лишить его культуры (в смысле качества бытия), лишить его духовной определенности, то есть убить в нем личность» (цит. по: Кормер, 1991).

рева) с его альтруизмом и идеями расплаты с народом реально ничего не решает. Все решалось бы предельно просто, если бы заводы принадлежали небольшой группе людей, способных проникнуться мыслями о благе народа. В этом случае нравственная и реальная ответственность совпадали бы. Но фактически заводы принадлежат всесильному капиталу, в них заинтересован целый «сонм дельцов», так что в результате от приваловских миллионов даже «дыма не осталось». В финале романа вопрос о возврате «исторического долга» снят, поскольку это не долг одного только Сергея Привалова, и его филантропические намерения не могут осуществиться. Носитель идеи долга оказывается жертвой буржуазного хищничества. Основной смысл последней редакции романа состоит в показе капитализма как силы жестокой и злой, но неотвратимо идущей к своему торжеству и разбивающей в прах жалкие попытки сопротивления. Привалов, естественно, терпит крах в борьбе против отдельных опекунов-хищников, но еще более закономерным является его поражение всей капиталистической системой, которой он вздумал противопоставить утопические планы «спасения деревни». Таким образом, роман в окончательной редакции направлен на разрушение идиллического мифа, созданного народниками и персонифицированного в фигуре Сергея Привалова. Ситуация усугубляется еще и тем, что в «Приваловских миллионах» автором впервые выдвигается как важная черта главного героя слабохарактерность, проявившаяся еще во время его обучения в Петербургском университете. Больше того, «последний из Приваловых», если следовать характеристике, данной самим Маминым-Сибиряком, – это «человек, который несет в своей крови тяжелое наследство и который под влиянием образования постоянно борется с унаследованными пороками. В общем, он повторяет “раздвоенных” русских людей, у которых хорошие намерения и заветные мечты постоянно идут вразрез с практикой» (цит. по: Груздев, Груздева, 1958). Таким образом, сюжетная линия главного героя («козла отпущения») реализует, по сути, ту же иронию судьбы, подобно сюжетным и жизненным линиям его идейных противников – Ляховского, Половодова, Хины Заплатиной и др. В результате закономерным становится вопрос: а следует ли героев романа традиционно для реализма делить на «положительных» и «отрицательных»? И каков критерий «положительности»? Правомерно ли в таком случае говорить о сатире как концептуальной категории применительно к этому роману?

Сергей Привалов (на уровне реального жизненного проживания) – объект насмешки ряда узловских обывателей. Это обусловлено тем, что комическое, как было подчеркнуто выше, имеет своей сферой социальное, различные общественные роли индивида. Реальный социальный статус главного героя был определен нами выше – «козел отпущения», однако здесь он требует уточнения. Кто же такой Привалов? Подопечный миллионер (помилуйте, да миллионер ли он в таком случае)? Петербуржец он или узловец («свой» или «чужой»)? Истинный ли он наследник: отчего же не занимается заводским делом да золотыми приисками? Привалов, таким образом, персонаж с такой качественностью, которая позволяет ему создавать конфликт, прецедент всегда и везде. Это герой, как бы балансирующий на границе бытия и инобытия, «своего» и «чужого», смех над которым (и смех которого, если таковой имеет место быть) обладает наиболее действенной снижающе-возрождающей мощью. С этой точки зрения Сер-

гей Привалов подобен серьезному герою анекдотных «сериалов», подвергающихся инверсированию⁶. Вообще, ситуация приезда «подопечного миллионера» в провинциальный Узел во многом сродни анекдотической. Можно провести также параллель и со сказкой, в которой мнимо «низкий» герой лишь незаметно и постепенно обнаруживает свою героическую сущность, торжествует над своими врагами и соперниками. Скромный и от природы чрезвычайно робкий «миллионщик» Сергей Привалов – этакий «дурачок» и «простачок» в глазах узловских обывателей, которого ничего не стоит обвести вокруг пальца, «заставить плясать под свою дудку». Сравните:

(1) – Так вы говорите, что Привалов не будет пользоваться вниманием женщин? – задумчиво спрашивала Агриппина Филиппевна уже во второй раз.

– Решительно не будет, потому что в нем этого... как вам сказать... между нами говоря... *нет именно той смелости, которая нравится женщинам* (здесь и далее в цитате курсив наш. – Л. Ш.). Ведь в известных отношениях все зависит от умения схватить удобный момент, воспользоваться минутой, а у Привалова... Я сомневаюсь, чтобы он имел успех...

– У Привалова есть миллионы, – продолжала Агриппина Филиппевна мысль приятельницы.

– *Только и есть, что одни миллионы...*

(2) – Гм... Я удивляюсь одному, что вы так легко смотрите на Привалова и даже не постарались изучить его характер, а между тем – это прежде всего.

– Да Привалова и изучать нечего, – он весь налицо: глуповат и бредит разными пустяками.

– Прибавьте: Привалов очень честный человек.

– Ну и достаточно, кажется.

(3) В нем есть непосредственность, – сказала Агриппина Филиппевна. – Он *глуповат и простоват*, но он может быть героем романа.

По сути дела, следует говорить об особом феномене, ставшем эстетической реальностью «Приваловских миллионов», – «карнавализации сознания»⁷. Написанное в 1930-е годы и опубликованное в 1965 году исследование М. М. Бахтина о Рабле имеет самое непосредственное отношение к поэтике мифа.

В бахтинском анализе карнавала для нас важны два момента:

1. Указание на принципиальный *историзм*, временную ориентированность сознания: «на крутых поворотах истории» естественно и закономер-

⁶ Широко известны произведения, в которых герои находятся в особой сфере (условия войны, смена власти, вражеский тыл, борьба с преступностью), балансируют между жизнью и смертью, на грани миров: Чапаев – между красными и белыми, Штирлиц – между русскими и немцами, Шерлок Холмс – между законопослушным обществом и преступной средой.

⁷ Вспомним описание карнавального принципа по М. М. Бахтину: «... Карнавал не созерцают, в нем *живут* (здесь и далее в цитате выделено автором. – Л. Ш.), и живут *все*, потому что по идее своей он *всенароден*. Пока карнавал совершается, ни для кого нет другой жизни, кроме карнавальной. <...> ... карнавал был не художественной театрально-зрелищной формой, а как бы реальной (но временной) формой самой жизни, которую не просто разыгрывали, а которой жили почти на самом деле (на срок карнавала)» (Бахтин, 1990, 12).

но возникновение карнавального мироощущения как формы «критического исторического сознания». Приезд наследника приваловских миллионов в уездный город с прозрачным названием *Узел* («город городов российских» – подобную функцию выполнял, как известно, город и в упоминаемом уже нами «Ревизоре» Гоголя) – причина глобального «переворота» в общественном сознании местных обывателей, тот «камень», который всколыхнул ровную гладь провинциального «болота». Подтверждение собственным суждениям мы находим у российского философа XIX столетия В. Кормера, выведшего проблему карнавализации далеко за рамки Средневековья и размышлявшего о ней феноменологически⁸. Этот феномен В. Кормер определяет как *карнавализацию сознания*: амбивалентность, двойственность, одновременное приятие «разноэтажных» ценностей. По мнению философа, карнавализация была типом жизни, заданным правителями России начиная с Ивана Грозного и заканчивая Сталиным. По сути, карнавализация была и типом сознания и жизни героев Мамина-Сибиряка, однако приезд Сергея Привалова усугубил и обнаружил существовавшую здесь «разноэтажность» духовных ценностей, явившись, таким образом, своеобразной «лакмусовой бумагой».

2. В противоположность официальному празднику, карнавал являл собой как бы временное освобождение от господствующей правды и существующего строя, временную отмену всех иерархических отношений, привилегий, норм, запретов. На фоне крайней сословной и корпоративной разобщенности людей в условиях обычной жизни этот *вольный фамильярный контакт между всеми людьми* ощущался очень остро и составлял существенную часть общего карнавального мироощущения, отчуждение как бы временно исчезало. В карнавальном мире создается утопическая атмосфера свободы, равенства, отменяется социальная иерархия. В «Приваловских миллионах» мы наблюдаем именно это своеобразное «равенство» всех героев перед лицом неожиданно явившегося «желтого дьявола» в лице молодого наследника. Материально более или менее благополучных персонажей Мамина-Сибиряка преисполнила ощущением равенства и «онтологической веселости» именно эта мысль о несметном, воистину сказочном богатстве.

Праздничная неразбериха в «Приваловских миллионах» явно родственна хаосу, не имеющему, однако, архетипических корней. Социальный хаос (на языке Хины Заплатиной – *переполох*) – состояние мира в романе Мамина-Сибиряка. Следует отметить, что приезд или весть о предстоящем приезде («важного» лица, вносящие определенную неразбериху и смуту в привычное течение провинциальной жизни, а также приход героя, производящий определенный резонанс, – прием, характерный для целого ряда уральских романов Мамина. Так, в «Приваловских миллионах» действие начинается с приезда Привалова в Узел; в «Горном гнезде» – с вести о

⁸ «Разумеется, по мере угасания площадной праздничной народной культуры и карнавальное оформление социально-экономических переворотов упрощается, огрубляется, теряет красочность, порой совсем утрачивает характер ликующего веселья, становится мрачным и кровавым, но тем не менее какая-то *архетипическая глубина и мощь в нем остается* (курсив наш. – Л. Ш.). <...> ... карнавал внедряется в жизнь, и сама жизнь во многом начинает осознаваться через призму карнавала, восприниматься как карнавал. Было бы при этом большой ошибкой считать, что ... способность к карнавальному восприятию жизни, к карнавальному оформлению исторических сдвигов в наши время совершенно исчезла» (Кормер, 1991. 181).

предстоящем приезде Лаптева; в «Золоте» – с прихода Кишкина в Фатьянку; в «Хлебе» – с появления старика Колобова в окрестностях Суслона. Таков, с нашей точки зрения, и пафос рассмотренной нами выше сцены «В гостиную Агриппины Филипповны после ухода Привалова», ряда других сцен, связанных с приездом миллионера: сознание героев здесь одновременно занимает несколько взаимоисключающих позиций.

«Карнавализованное» сознание героев обнаруживается, в частности, с помощью такого приема, как *монологи-бумеранги*. Следует отметить, что в монологах-бумерангах всегда присутствует «второй план», благодаря которому авторская оценка как бы «накладывается» на самооценку героя. Этот скрытый авторский комментарий и делает их одной из форм проявления комического в романе. Сравните приведенные ниже монологи Хионии Алексеевны, посвященные ее любимой теме сватовства и замужества, чрезвычайно сильно «подогретой» приездом Привалова:

(1) – Отчего же он не остановился у Бахаревых?... *Видно, себе на уме* (здесь и далее в приведенных цитатах курсив наш. – Л. Ш.)... Все-таки сейчас поеду к Бахаревым. Нужно предупредить Марью Степановну... Вот и партия Nadine. *Точно с неба жених свалился!* Этакое счастье этим богачам: своих денег не знают куда девать, а тут, *как снег на голову*, зять миллионер... Воображаю: у Ляховского дочь, у Половодова сестра, у Веревкиных дочь, у Бахаревых целых две... Вот извольте тут разделить между ними одного жениха!..

(2) – Вот уж это вы напрасно, Марья Степановна!.. Разве человек образованный будет беспокоить других? Дом у Привалова, конечно, свой, да ведь в нем жильцы. К вам Привалову было ближе приехать, да ведь он понимает, что у вас дочери – невесты... Знаете, все-таки *неловко молодому человеку показать себя сразу неделикатным*. Я как услышала, что Привалов приехал, так *сейчас же и перекрестилась*: вот, думаю, *господь какого жениха Nadine послал... Ей-богу! А сама плачу...* Не знаю, о чем плачу, только слезы так и сыплются. И сейчас к вам...

(3) А там *женишок-то* кому еще достанется, – думала про себя Хиония Алексеевна, припоминая свои обещания Марье Степановне. – Уж очень Nadine ваша нос кверху задирает. *Не велика в перьях птица: хороша дочка Аннушка, да хвалит только мать да бабушка!* Конечно, Ляховский гордец и кашей, а если взять Зосю, – вот эта, по-моему, так действительно невеста: всем взяла... Да-с!.. Не чета *гордычке* Nadine...

(4) – Ах, если бы вы только видели, Агриппина Филипповна! – *закатывая глаза*, шептала Хиония Алексеевна. – Ведь всему же на свете бывают границы... Мне просто гадко смотреть на все, что делается у Бахаревых! Эта Nadine *с первого раза вешается на шею Привалову...* А старики? Вы бы только посмотрели, как они ухаживают за Приваловым... Куда вся гордость девалась! Василий Назарыч готов для *женишка* в мелочную лавочку за папиросами бегать. *Ей-богу!*.. А какие мне Марья Степановна грязные предложения делала... Да разве я соглашусь присматривать да подслушивать за жильцом?!

Представленные в сравнении, в сопоставлении, эти монологи-бумеранги, казалось бы, приводят героиню к полной и окончательной самофальсификации. Ее поведение обусловлено лишь одним фактом: особенностью самой речевой ситуации – контактной («с глазу на глаз») или дистантной («за глаза»). Однако и в такой «критической» для Хионии Алексеевны ситуации в нашем читательском сознании продолжается борьба момен-

тов «сочувствия» и «дистанции». Дело в том, что и в этих репликах Хины есть свой резон: здесь в какой-то мере выражается коллективная точка зрения на «сватовство» и «жениховство», народные представления о том, какой должна быть невеста и т. п. Они подкрепляются пословичными выражениями: *Не велика в перьях птица: хороша дочка Аннушка, да хвалит только мать да бабушка!*

Разновидностью социального хаоса в романе является хаос нравственный. Интересно рассмотреть в этом контексте и главного героя романа. Сергей Привалов претерпевает своеобразную эволюцию от ранней редакции романа («Каменный пояс») к окончательному тексту произведения. Застенчивость, становящаяся доминантой в Привалове «Каменного пояса», приводит последнего к некоторой отчужденности от женского общества, хотя в то же время он ждет и жаждет большой любви и втайне ото всех мечтает о какой-то мисс Стенд, с которой разговаривал только один раз (после того, как «спас» ее от разъяренного быка) и которую сделал в своем воображении образцом всех добродетелей. Контраст с Приваловым последней редакции романа очевиден: трепетно относящийся к Надежде Бахаревой, герой тем не менее легко попадает в любовные сети томной пышногрудой красавицы Антонида Ивановны, расставленные (этот факт нам представляется особенно показательным) ее же собственным супругом: ничто в этом мире не свято, – и прелести жены идут в ход, если речь идет о крупном барыше:

- Послушай, Тонечка: сделай как-нибудь так, чтобы Привалову не было скучно бывать у нас. Понимаешь?
- Да что же я могу сделать для него?
- Ах, какая ты глупая... Посоветуйся с *татап*, она лучше тебе объяснит, чем я, – с улыбкой прибавил Половодов.

Естественно, вряд ли Александр Павлыч предполагал увидеть себя в ближайшей перспективе рогоносцем – он имел в виду всего лишь легкий флирт, однако вялая и томная жена-красавица оказалась на редкость талантливой ученицей собственной *татап*... Подобно Эдипу Софокла, Половодов не ведает, что творит, ход вещей оказывается обратен по отношению к его действиям, однако существеннейшее отличие Александра Павлыча от Эдипа состоит в том, что он лишен трагического ореола, это герой-антигерой, восходящий к архетипу трикстера. В жизненной коллизии Половодова реализуется, таким образом, софокловская «ирония судьбы», или, точнее, событий, преобразующаяся в контексте всего романа действительно в иронию судьбы, а по меткому определению Nicolas Веревкина, – в «полнейший шах и мат»: привлеченный к уголовной ответственности за мошенничество Александр Павлыч Половодов бежит за границу, где вскоре и умирает. Однако истинной причиной бегства Половодова, пропагандировавшего всю жизнь германновские «расчет, умеренность и аккуратность», явилась страстная любовь к первой супруге Сергея Привалова – Зосе Ляховской. Половодов и Привалов, таким образом, как бы квиты, а механизм иронии судьбы оказывается вновь действенным и по отношению к главному герою романа.

Подытожим сказанное:

- На уровне сюжетных линий следует говорить об иронии судьбы как особом способе мировидения и человековидения (восходящем к Софоклу) – движущем механизме судеб большинства персонажей.
- Социальное мифотворчество, типичное для русского сознания, – одна из причин реализации механизма «иронии судьбы».
- «Карнавализация» сознания героев – основной источник комического в романе, объект тщательного авторского исследования.
- На поведенческом уровне карнавализованное сознание реализуется в форме лицедейства (склонность к театральной жестикуляции, спичам, манерничанью, бесконечным переодеваниям и т. п.).
- На уровне текстообразования комическое обрело типично русские формы анекдотов, молвы, реализованной в виде слухов, сплетен и толков.

Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. 2-е изд. М., 1990.

Боголюбов Е. А. Творчество Д. Н. Мамина-Сибиряка. М., 1953.

Вулис А. З. В лаборатории смеха. М., 1966.

Груздев А. И., Груздева С. [Примечания] «Приваловские миллионы». Роман в пяти частях // Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч.: В 10 т. М., 1958.

Гуревич П. С. Философский словарь. М., 1997.

Дергачев И. А. Монологический роман Д. Н. Мамина-Сибиряка («Черты из жизни Пепко») // Русская литература 1870–1890-х годов. Сб. 12. Свердловск, 1979.

Дергачев И. А. Д. Н. Мамин-Сибиряк. Личность. Творчество: Критико-биографический очерк. Свердловск, 1981.

Дергачев И. А. «Новые люди» в творчестве Д. Н. Мамина-Сибиряка 1880-х годов // Дергачев И. А. Д. Н. Мамин-Сибиряк в литературном контексте второй половины XIX века. Екатеринбург, 1992.

Кормер В. Ф. О карнавализации как генезисе «двойного сознания» // Вопросы философии. 1991. № 1.

Кравченко И. И. Политическая мифология: вечность и современность // Там же. 1999. № 1.

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк: Сто лет со дня рождения, 1852–1952: Матер. науч. конф. Свердловск, 1953.

Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. 2-е изд., репр. М., 1995.

Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. М., 1976.

Санников В. З. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 1999.

Созина Е. К. Мифология, идеология и мистификация в повести А. Герцена «Aphorismata» // Архетипические структуры художественного сознания: Сб. статей. Вып. 2. Екатеринбург, 2001.

Спиридонова Л. А. Бессмертие смеха. Комическое в литературе русского зарубежья. М., 1999.

Удинцев Б. Д. Уральский период жизни Д. Н. Мамина-Сибиряка // Воспоминания о Д. Н. Мамине-Сибиряке / Сост. З. А. Ерошкина. Свердловск, 1936.

Федотов Г. П. «Слово о полку Игореве» / Вступ. ст., пер. и прим. С. С. Бычкова // Русская литература. 1993. № 1.

Чекин В. П. Урал и Приуралье в произведениях Д. Н. Мамина-Сибиряка // Урал: Сб. Зауральского Края, посв-й памяти писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка. Екатеринбург, 1913.